

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЁК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“

1949

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЕК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Т О М

11

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

Москва. 1949

РЕЧИ



ГАМЛЕТ И ДОН-КИХОТ

(Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым)

Мм. гг.!

Первое издание трагедии Шекспира «Гамлет» и первая часть сервантесовского «Дон-Кихота» явились в один и тот же год, в самом начале XVII столетия.

Эта случайность нам показалась знаменательною; сближение двух названных нами произведений навело нас на целый ряд мыслей. Мы просим позволения поделиться с вами этими мыслями и заранее рассчитываем на вашу снисходительность. «Кто хочет понять поэта, должен вступить в его область», сказал Гёте; прозаик лишен всяких прав на подобное требование; но он может надеяться, что его читатели или слушатели захотят сопутствовать ему в его странствованиях — в его изысканиях.

Некоторые из наших воззрений, быть может, поразят вас, мм. гг., своею необычайностью, но в том и состоит особенное преимущество великих поэтических произведений, которым гений их творцов вдохнул неумирающую жизнь, что воззрения на них, как и на жизнь вообще — могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи — и в то же время одинаково справедливы. Сколько комментариев уже было написано на Гамлета и сколько их еще предвидится впереди! К каким различным заключениям приводило изучение этого поистине неисчерпаемого типа! — Дон-Кихот, по самому свойству своей задачи, по истинно великолепной ясности рассказа, как бы озаренного солнцем юга, — подает меньше повода к толкованиям. Но, к сожалению, мы, русские, не имеем хорошего перевода Дон-Кихота; большая часть из нас сохранила о нем довольно неопределенные воспоминания; под словом: «Дон-Кихот» мы часто подразумеваем просто шута, — слово «донкихотство» у нас равносильно с словом нелепость, — между тем как в донкихотстве нам следовало бы признать вы-

сокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны. Хороший перевод Дон-Кихота был бы истинной заслугой перед публикой, и всеобщая благодарность ждет того писателя, который передаст нам это единственное творение во всей его красоте. Но возвратимся к предмету нашей беседы.

Мы сказали, что одновременное появление Дон-Кихота и Гамлета нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов; что почти каждый из нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон-Кихотов; но и Дон-Кихоты не перевелись.

Объяснимся.

Все люди живут — сознательно или бессознательно — в силу своего принципа, своего идеала, т. е. в силу того, что они почитают правдой, красотой, добром. Многие получают свой идеал уже совершенно готовым, в определенных, исторически сложившихся формах; они живут, соображая жизнь свою с этим идеалом, иногда отступая от него под влиянием страстей или случайностей, — но они не рассуждают о нем, не сомневаются в нем; другие, напротив, подвергают его анализу собственной мысли. Как бы то ни было, мы, кажется, не слишком ошибемся, если скажем, что для всех людей — этот идеал, эта основа и цель их существования находится либо вне их, либо в них самих: другими словами, для каждого из нас либо собственное я становится на первом месте, либо нечто другое, признанное им за высшее. Нам могут возразить, что действительность не допускает таких резких разграничений, что в одном и том же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до некоторой степени; но мы и не думали утверждать невозможность изменений и противоречий в человеческой природе; мы хотели только указать на два различные отношения человека к своему идеалу — и мы теперь постараемся представить, каким образом, по нашему понятию, эти два различные отношения воплотились в двух избранных нами типах.

Начнем с Дон-Кихота.

Что выражает собою Дон-Кихот? Взглянем на него не тем торопливым взглядом, который останавливается на поверхностях и мелочах. Не будем видеть в Дон-Кихоте одного лишь рыцаря печального образа, фигуру, созданную для осмеяния старинных рыцарских романов; известно, что значение этого лица расширилось под собственною рукою его бессмертного творца и что Дон-Кихот второй части, любезный собеседник герцогов и герцогинь, мудрый на-

ставник оруженосца-губернатора, — уже не тот Дон-Кихот, каким он является нам в первой части романа, особенно в начале, не тот странный и смешной чудака, на которого так щедро сыплются удары; а потому попытаемся проникнуть до самой сущности дела. Повторяем: что выражает собою Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, неизблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, — но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. Нам скажут, что идеал этот почерпнут расстроенным его воображением из фантастического мира рыцарских романов; согласны — и в этом-то состоит комическая сторона Дон-Кихота; но самый идеал остается во всей своей нетронутой чистоте. Жить для себя, заботиться о себе — Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам — т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование — оцените это слово! — он верит, верит крепко и без оглядки. Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой: ему не до того. Смиранный сердцем, он духом велик и смел; умилительная его набожность не стесняет его свободы; чуждый тщеславия, он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих физических силах; воля его — непреклонная воля. Постоянное стремление к одной и той же цели придает некоторое однообразие его мыслям, односторонность его уму; он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание. Дон-Кихот может показаться то совершенным безумцем, потому что самая несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает как воск от огня его энтузиазма (он действительно видит живых мавров в деревянных куклах, рыцарей — в баранах), — то ограниченным, потому что он не умеет ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться; но он, как долговечное дерево, пустил глубоко корни в почву и не в состоянии ни изменить своему убеждению, ни переноситься от одного предмета к другому; крепость его нравственного состава (заметьте, что этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное существо в мире) придает особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря

на комические и унижительные положения, в которые он беспрестанно впадает... Дон-Кихот — энтузиаст, служитель идеи, и потому обвеян ее сиянием.

Что же представляет собою Гамлет?

Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилипнуть душою; он скептик — и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит; он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила — отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя; постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет — и привязан к жизни... «О, боже, боже! (воскликает он во 2-й сцене первого акта), если б ты, судья земли и неба, не запретил греха самоубийства!.. Как пошла, пуста, плюска и ничтожна кажется мне жизнь!» Но он не жертвует этой плоской и пустой жизнью; он мечтает о самоубийстве еще до появления тени отца, до того прозного поручения, которое окончательно разбивает его уже надломленную волю, но он себя не убьет. Любовь к жизни высказывается в самых этих мечтах о прекращении ее: всем восемнадцатилетним юношам знакомы подобные чувства:

«То кровь кипит, то сил избыток».

Но не будем слишком строги к Гамлету: он страдает — и его страдания и больнее и язвительнее страданий Дон-Кихота. Того бьют грубые пастухи, освобожденные им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа.

Дон-Кихот, мы должны в этом сознаться, положительно смешон. Его фигура едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом. Его имя стало смешным прозвищем даже в устах русских мужиков. Мы в этом могли убедиться собственными ушами. При одном воспоминании о нем возникает в воображении тощая, угловатая, горбоносая фигура, облеченная в карикатурные латы, вознесенная на чахлаый остов жалкого коня, того бедного, вечно голодного и битого

Россинанта, которому нельзя отказать в каком-то полузабавном, трогательном участии. Дон-Кихот смешон... но в смехе есть примиряющая и искупающая сила — и если не даром сказано: «чему посмеешься, тому послужишь», то можно прибавить, что над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов. Напротив, наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолия, бледный, хоть и не худой вид (мать его замечает о нем, что он толст, «our son is fat»), черная, бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими, рядом с язвительной потехой самоунижения; все в нем нравится, все пленяет; всякому лестно прослыть Гамлетом, никто бы не хотел заслужить прозвание Дон-Кихота; «Гамлет Баратынский», писал к своему другу Пушкин; над Гамлетом никто и не подумает смеяться, и именно в этом его осуждение: любить его почти невозможно, одни люди, подобные Горацию, привязываются к Гамлету. Мы о них поговорим впоследствии. Сочувствует ему всякий, и оно понятно: почти каждый находит в нем собственные черты; но любить его, повторяем, нельзя, потому что он никого сам не любит.

Будем продолжать наше сравнение. Гамлет — сын короля, убитого родным братом, похитителем престола; отец его выходит из могилы, из «челюстей ада», чтобы поручить ему отомстить за себя, а он колеблется, хитрит с самим собою, тешится тем, что ругает себя, и наконец убивает своего вотчина случайно. Глубокая психологическая черта, за которую многие даже умные, но близорукие люди дерзали осуждать Шекспира! А Дон-Кихот, бедный, почти нищий человек, без всяких средств и связей, старый, одинокий, берет на себя исправлять зло и защищать притесненных (совершенно ему чужих) на всем земном шаре! Что нужды, что первая же его попытка освобождения невинности от притеснителя рушится двойной бедою на голову самой невинности... (Мы разумеем ту сцену, когда Дон-Кихот избавляет мальчика от побоев его хозяина, который тотчас же после удаления избавителя вдесятеро сильнее наказывает бедняка); что нужды, что, думая иметь дело с вредными великанами, Дон-Кихот нападает на полезные ветряные мельницы... Комическая оболочка этих образов не должна отводить наши глаза от сокрытого в них смысла. Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. С Гамлетом ничего подобного случиться не может: ему ли, с его пронизательным, тонким, скептическим умом, ему ли впасть в такую грубую ошибку! Нет, он не будет сражаться с ветряными мельницами, он не верит в великанов... но он бы и не напал на них, если бы они

точно существовали. Гамлет не стал бы утверждать, как Дон-Кихот, показывая всем и каждому цирюльничий таз, что это есть настоящий волшебный шлем Мамбрина; но мы полагаем, что если бы сама истина предстала воплощенной перед его глазами, Гамлет не решился бы поручиться, что это точно она, истина... Ведь кто знает, может быть, и истины тоже нет, так же, как великанов? Мы смеемся над Дон-Кихотом... но, мм. гг., кто из нас может, добросовестно спросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто решится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и различал цирюльничий оловянный таз от волшебного золотого шлема?.. Потому нам кажется, что главное дело в искренности и силе самого убеждения... а результат — в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы... Наше дело — вооружиться и бороться.

Замечательны отношения толпы, так называемой людской массы, к Гамлету и Дон-Кихоту.

Полоний — представитель массы перед Гамлетом; Санчо-Панса — перед Дон-Кихотом.

Полоний — дельный, практический, здравомыслящий, хотя в то же время ограниченный и болтливый старик. Он отличный администратор, примерный отец; вспомните его наставления сыну своему Лаэрту при отъезде за границу, — наставления, которые могут поспорить в мудрости с известными распоряжениями губернатора Санчо-Пансы на острове Баратария. Для Полония Гамлет не столько сумасшедший, сколько ребенок, и если бы он не был королевским сыном, он бы презирал его за его коренную бесполезность, за невозможность положительного и дельного применения его мыслей. Известная сцена облака, между Гамлетом и Полонием, сцена, в которой Гамлет воображает, что дурачит старика, имеет для нас явный смысл, подтверждающий наше воззрение... Мы позволим себе напомнить ее вам:

Полоний.

Королева желает говорить с вами, принц, и притом сейчас.

Гамлет

Видите это облако? Точно ласточка.

Полоний.

Совершенная ласточка.

Гамлет.

Мне кажется, оно похоже на верблюда.

Полоний.

Спина точь-вточь как у верблюда.

Гамлет.

Или как у кита?

Полоний.

Совершенный кит.

Гамлет.

Хорошо. — Так я иду к матушке.

Не явно ли, что в этой сцене Полоний в одно и то же время придворный, который угождает принцу, и взрослый, который не хочет перечить больному, блажному мальчику? Полоний ни на волос не верит Гамлету, и он прав; со всей свойственной ему ограниченной самонадеянностью он приписывает блажь Гамлета его любви к Офелии, и в этом он, конечно, ошибается; но он не ошибается в оценке его характера. Гамлеты, точно, бесполезны массе; они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли земля под ногами? Притом же, Гамлеты презирают толпу. Кто самого себя не уважает — кого, что может тот уважать? Да и стоит ли заниматься массой? Она так груба и грязна! а Гамлет — аристократ не по одному рождению.

Совсем другое зрелище представляет нам Санчо-Панса. Он, напротив, смеется над Дон-Кихотом, знает очень хорошо, что он сумасшедший, но три раза покидает свою родину, дом, жену, дочь, чтобы идти за этим сумасшедшим человеком, следует за ним повсюду, подвергается всякого рода неприятностям, предан ему по самую смерть, верит ему, гордится им и рыдает коленопреклоненный у бедного ложа, где кончается его бывший господин. Надеждою на прибыль, на личные выгоды — этой преданности объяснить нельзя; у Санчо-Пансы слишком много здравого смысла; он очень хорошо знает, что, кроме побоев, оруженосцу странствующего рыцаря почти нечего ожидать. Причину его преданности следует искать глубже; она, если можно так выразиться, коренится в едва ли не лучшем свойстве массы, в способности счастливого и честного ослепления (увы! ей знакомы и другие ослепления), в способности бескорыстного энтузиазма, презрения к прямым личным выгодам, которое для бедного человека почти равносильно с презрением к насущному хлебу. Великое, всемирноисторическое свойство! Масса людей всегда кончает тем, что идет, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми она сама глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, впериw духовный взор в ими только видимую цель, ищут, падают, поднимаются, и наконец находят... и по праву; только тот и находит, кого ведет сердце. *Les grandes pensées viennent du coeur*, сказал Военарг. А Гам-

леты ничего не находят, ничего не изобретают и не оставляют следа за собою, кроме следа собственной личности, не оставляют за собою дела. Они не любят и не верят; что же они могут найти? Даже в химии (не говоря уже об органической природе), для того чтобы явилось третье вещество, надобно соединение двух; а Гамлеты всё только собою заняты; они одиноки, а потому бесплодны.

Но возразят нам: «Офелия? — разве Гамлет ее не любит?»

Поговорим о ней — и кстати о Дульцинее.

В отношениях наших двух типов к женщине есть также много знаменательного.

Дон-Кихот любит Дульцинею, не существующую женщину, и готов умереть за нее (вспомните его слова, когда, побежденный, поверженный в прах, он говорит своему победителю, уже занесшему на него копьё: «колите меня, рыцарь, но да не послужит моя слабость к уменьшению славы Дульциней; я все-таки утверждаю, что она совершеннейшая красавица в мире»). Он любит идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозревает, что предмет его страсти вовсе не существует; до того чисто, что когда Дульциня является перед ним в образе грубой и грязной мужички, он не верит свидетельству глаз своих и считает ее превращенной злым волшебником. Мы сами на своем веку, в наших странствованиях, — видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, — мы чуть было не сказали: волшебников — злых случайностей и личностей. Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать. Чувственности и следа нет у Дон-Кихота; все мечты его стыдливы и безгрешны, и едва ли в тайной глубине своего сердца надеется он на конечное соединение с Дульцинеей, едва ли не страшится он даже этого соединения!

А Гамлет, неужели он любит? Неужели сам иронический его творец, глубочайший знаток человеческого сердца, решил-ся дать эгоисту, скептику, проникнутому всем разлагающим ядом анализа, — любящее, преданное сердце? Шекспир не впал в это противоречие, и внимательному читателю не стоит большого труда, чтобы убедиться в том, что Гамлет, человек чувственный и даже в тайне сластолюбивый (придворный Розенкранц не даром улыбается молча, когда Гамлет говорит при нем, что ему женщины надоели), что Гамлет, говорим мы, не любит, но только притворяется, и то небрежно, что любит. Мы имеем на то свидетельство самого Шекспира.

В первой сцене третьего действия Гамлет говорит Офелии:

Я любил тебя когда-то.

О ф е л и я.

Принц, вы заставили меня этому верить.

Г а м л е т.

А не должно было верить!.. *Я не любил тебя.*

И сказавши это последнее слово, Гамлет гораздо ближе к правде, чем сам полагает. Чувства его к Офелии, существу невинному и ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двусмысленные намеки, когда он, в сцене представления на театре, просит у ней позволения полежать... у ее колен), либо фразисты (обратите ваше внимание на сцену между ним и Лаэртом, когда он впрыгивает в могилу Офелии и говорит языком, достойным Брамарбаса или капитана Пистоля: «сорок тысяч братьев не могут со мной поспорить! пусть на нас навалят миллион холмов!» и т. д.). Все его отношения к Офелии опять-таки для него не что иное, как занятие самим собою, и в восклицании его: «о, нимфа! помяни меня в своих святых молитвах», мы видим одно лишь глубокое сознание собственного, болезненного бессилия — бессилия полюбить, — почти суеверно преклоняющегося перед «святыней чистоты».

Но довольно говорить о темных сторонах гамлетовского типа, о тех сторонах, которые именно потому нас более раздражают, что они нам ближе и понятнее. Постараемся оценить то, что в нем законно и потому вечно. В нем воплощено начало отрицания, то самое начало, которое другой великий поэт, отделив его от всего чисто человеческого, представил нам в образе Мефистофеля. Гамлет — тот же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой природы; оттого его отрицание не есть зло — оно само направлено противу зла. Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой. В добре оно сомневается, то есть оно заподозревает его истину и искренность и нападает на него, не как на добро, а как на поддельное добро, под личиной которого опять-таки скрываются зло и ложь, его исконные враги; Гамлет не хохочет демонски-безучастным хохотом Мефистофеля; в самой его горькой улыбке есть унылость, которая говорит о его страданиях и потому примиряет с ним. Скептицизм Гамлета не есть также индифферентизм, и в этом состоит его значение и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразие не сливаются перед ним в одно случайное, немое, тупое нечто. Скептицизм Гамлета, не веря в современное, так сказать, осуществление истины, неприемлемо враждует с ложью и тем самым становится одним из главных борников той истины, в которую не может вполне поверить. Но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила — и как удерживать эту силу в границах, как указать ей, где ей именно остановиться, когда то, что она должна истребить, и

то, что ей следует пощадить, часто слито и связано неразрывно? Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона человеческой жизни: для дела нужна воля, для дела нужна мысль; но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более...

And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er by the pale cast of thought...
(Прирожденный румянец воли
Блекнет и болеет, покрываясь бледностью мысли...)

говорит нам Шекспир устами Гамлета... И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой — полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какую они ее видят. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов.

Ограничимся замечанием, что в этом разъединении, в этом дуализме, о котором мы упомянули, мы должны признать коренной закон всей человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал. Если бы мы не боялись испугать ваши уши философическими терминами, мы бы решились сказать, что Гамлеты суть выражение коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считает себя центром творения и на все остальное взирает как на существующее только для него (так комар, севший на лоб Александра Македонского, с спокойной уверенностью в своем праве, питался его кровью, как следующей ему пищей; так точно и Гамлет, хотя и презирает себя, чего комар не делает, ибо он до этого не возвысился, так точно и Гамлет, говорим мы, постоянно все относит к самому себе). Без этой центростремительной силы (силы эгоизма) природа существовать бы не могла, точно так же как и без другой, центробежной силы, по закону которой все существующее существует только для другого (эту силу, этот принцип преданности и жертвы, освещенный, как мы уже сказали, комическим светом — чтобы гусей не раздражить — этот принцип представляют собою Дон-Кихоты). Эти две силы, силы косности и движения, консерватизма и прогресса, суть основные силы всего существующего. Они объясняют нам растение

цветка, и они же дают нам ключ к уразумению развития могущественнейших народов.

Спешим перейти от этих, быть может, неуместных умозрений к другим, более привычным нам соображениям.

Нам известно, что из всех произведений Шекспира едва ли не самое популярное — «Гамлет». Эта трагедия принадлежит к числу пьес, несомненно и всякий раз наполняющих театр. При современном состоянии нашей публики, при ее стремлении к самосознанию и размышлению, при ее сомнении в самой себе и ее молодости — это явление понятно; но, не говоря о красотах, которыми преисполнено это, быть может, замечательнейшее произведение новейшего духа, нельзя не удивляться гению, который, будучи сам во многом сродни своему Гамлету, отделил его от себя свободным движением творческой силы — и поставил его образ на вечное изучение потомству. Дух, создавший этот образ, есть дух северного человека, дух рефлексии и анализа, дух тяжелый, мрачный, лишенный гармонии и светлых красок, не закругленный в изящные, часто мелкие формы, но глубокий, сильный, разнообразный, самостоятельный, руководящий. Из самых недр своих извлек он тип Гамлета и тем самым показал, что и в области поэзии, как и в других областях народной жизни, он стоит выше своего чада, потому что вполне понимает его.

Дух южного человека оочил на создании Дон-Кихота, дух светлый, веселый, наивный, восприимчивый, не идущий в глубину жизни, не обнимающий, но отражающий все ее явления. Мы не можем здесь противиться желанию, — не провести параллель между Шекспиром и Сервантесом, — а только указать на некоторые точки различия и сходства между ними. Шекспир и Сервантес, подумают иные, — какое же тут может быть сравнение? Шекспир — этот гигант, полубог... Да; но не пигмеем является Сервантес перед гигантом, сотворившим «Короля Лира», но человеком, и человеком вполне; а человек имеет право стоять на своих ногах даже перед полубогом. Бесспорно, Шекспир подавляет Сервантеса — и не его одного — богатством и мощью своей фантазии, блеском высочайшей поэзии, глубиной и обширностью громадного ума; но вы не найдете в романе Сервантеса ни натянутых острот, ни неестественных сравнений, ни приторных кончетти; вы также не встретите на его страницах этих отрубленных голов, вырванных глаз, всех этих потоков крови, этой железной и тупой жестокости, грозного наследия средних веков, варварства, медленнее исчезающего в северных, упорных натурах; а между тем Сервантес, как и Шекспир, был современник Варфоломеевской ночи; и еще долго после них сожигались еретики и кровь лилась; да и перестанет ли она когда-нибудь литься? Средние века сказались в «Дон-Кихоте» отблеском провансальской

поэзии, сказочной грацией тех самых романов, над которыми Сервантес так добродушно посмеялся и которым сам же заплатил последнюю дань в «Персилесе и Сигизмунде»¹. Шекспир берет свои образы отовсюду — с неба, с земли — нет ему запрету; ничто не может избежать его всепроникающего взора; он исторгает их с неотразимой силой, с силой орла, падающего на свою добычу. Сервантес ласково выводит перед читателем свои немногочисленные образы, как отец своих детей; он берет только то, что близко ему, но это близкое — так ему знакомо! Все человеческое кажется подвластным могучему гению английского поэта; Сервантес черпает свое богатство из одной своей души, ясной, кроткой, богатой жизненным опытом, но не ожесточенной им: не даром в течение семилетнего тяжелого плена Сервантес учился, как он сам говорил, науке терпенья; круг, ему подвластный, теснее шекспировского; но в нем, как и в каждом отдельном живом существе, отражается все человеческое. Сервантес не озарит вас молниеносным словом; он не потрясет вас титанической силой победоносного вдохновения; его поэзия — не шекспировское, иногда мутное море, это — глубокая река, спокойно текущая между разнообразными берегами; и понемногу увлеченный, охваченный со всех сторон ее прозрачными волнами, читатель радостно отдается истинно эпической тишине и плавности ее течения. Воображение охотно вызывает перед собою образы обоих современников-поэтов, которые и умерли в один и тот же день, 26 апреля 1616 года. Сервантес, вероятно, ничего не знал о Шекспире; но великий трагик, в тишине своего Стратфордского дома, куда он удалился за три года до смерти, мог прочесть знаменитый роман, который был уже тогда переведен на английский язык... Картина, достойная кисти живописца-мыслителя: Шекспир, читающий Дон-Кихота! Счастливы страны, среди которых возникают такие люди, учителя современников и потомков! Неувядаемый лавр, которым увенчивается великий человек, ложится также на чело его народа.

Кончая наш далеко не полный этюд, мы просим позволения сообщить вам еще несколько отдельных замечаний.

Один английский лорд (хороший судья в этом деле) называл при нас Дон-Кихота образом настоящего джентльмена. Действительно, если простота и спокойствие обращения служат отличительным признаком так называемого порядочного человека, Дон-Кихот имеет полное право на это название. Он истинный гidalго, гidalго даже тогда, когда насмешливые служанки герцога намыливают ему все лицо. Простота его манер происходит от отсутствия того, что мы бы решились назвать его

¹ Известно, что рыцарский роман «Персилес и Сигизмунда» явился после первой части «Дон-Кихота».